

С.И.Кормилов

АХМАТОВА И АХМАТОВСКОЕ В СТИХАХ ИОСИФА БРОДСКОГО 1962 ГОДА О СМЕРТИ И ВЕЧНОСТИ¹

Рассматриваются ахматовские образы и реминисценции в поэзии И.Бродского. На появление сходных образов повлияло тесное общение поэта с Ахматовой в начале 1960-х годов. Поэтов объединяют мотивы смерти и бессмертия, временной поэтической «смерти». Голоса прошлого и настоящего звучат в стихах «как доказательство реального существования вечности <...> в языке, литературе» (А.А.Фокин). Переход в XXI век мыслится Бродским как гарантированный для Ахматовой, но не для ее почитателей и современников. Поэт придает будущему, смерти и вечности апокалиптическую окраску, обращаясь к не характерному для Ахматовой образу коня, ищущего всадника, и к образам глаза и изумруда (зеленого цвета), соотносящимся с отмеченным в эссе о «музе плача» цветом ее глаз. У Бродского важны мотивы зрения, зеркала (из «Поэмы без героя») и стекла. Ахматовские «опыт смерти» и совмещение в фокусе призмы индивидуальной души и призмы истории «посредством просодии, которая, по сути дела, есть хранилище времени в языке». Душа и тело — распространенные мотивы у обоих поэтов. Поэту важна идея сближения земли и неба (земное — временное, небо — божественная вечность), причем сугубо приземленно звучит «солдатский шаг» (в «Реквиеме» Ахматовой — «шаги тяжелые солдат»). Молодой поэт выбирает один из главных для него этических и эстетических ориентиров.

Ключевые слова: смерть и бессмертие, Апокалипсис, душа и тело, земля и небо, зеркало

Бродского познакомили с Ахматовой 7 августа 1961 г. [1, с. 68, 330], но Соломону Волкову он говорил: «Это было, если я не ошибаюсь, в 1962 г. <...>» [2, с. 63]. Ошибся потому, что датам он придавал гораздо меньше значения, чем его старшая собеседница, и потому, что поначалу не понимал масштаба личности и таланта Ахматовой: «До меня как-то не доходило, с кем я имею дело. <...> Я знал только довольно узкий набор ее стихотворений» [2, с. 63, 65]. И, по словам его друга и биографа, «к тому, что знал, был равнодушен. Он в это время жил под впечатлением первого знакомства с поэзией Цветаевой» [1, с. 68]. Она и потом оставалась для него главным предшественником. Внутри «большой четверки», выделявшейся Ахматовой (стихотворение «Нас четверо», 1961), «Бродский создает иерархию: Цветаева («Я считаю, что Цветаева — первый поэт XX века» <...>) — Мандельштам — Ахматова — Пастернак <...>» [3, с. 72]. Ахматова, по-видимому, была для него несколько старомодно «классична». Она ему говорила: ««Вообще, Иосиф, я не понимаю, что происходит; вам же не могут нравиться мои стихи». Я, конечно, взвился, заверещал, что ровно наоборот, — рассказывал Бродский. — Но до известной степени, задним числом, она была права» [2, с. 63]. Пришло озарение, когда он познакомился с поздними ее стихами. Он умел ценить то, что не было ему близко по поэтике. «Поздние ахматовские стихи — обычно афористичные четверостишия. Бродский замечает по этому поводу, что «суть изящной словесности — это и есть короткое стихотворение» (Большая книга интервью, с. 275). Бродский очень любит и ранний сборник «Белая стая»» [3, с. 76], хотя сам как поэт отнюдь не тяготеет к такому лаконизму. Но наибольшее влияние Анна Андреевна произвела на него в этическом отношении: «<...> всякая встреча с Ахматовой была для меня довольно-таки замечательным переживанием. Когда физически ощущаешь, что имеешь дело с человеком лучшим, нежели ты. Гораздо лучшим. С человеком, который одной интонацией тебя преображает. И Ахматова уже одним только тоном голоса или поворотом головы превращала вас в хомо сапиенс» [2, с. 62].

Несомненно, она была для Бродского также примером мужественно и достойно прожитой жизни. Тогда он особенно нуждался в таком примере. «На годы близости с Ахматовой пришлось самые трудные испытания в жизни Бродского — любовная драма, попытка самоубийства, сумасшедший дом и тюрьма, кошмарный суд, предательство друга. Все происходившее с ним трогало Ахматову самым интимным образом» [1, с. 70]. Он это высоко ценил. Поэт посвятил ей целый ряд стихотворений [1, с. 331, 333, 336, 337, 339, 340, 342, 354, 396], написал о ней эссе «Муза плача», рецензию на английский сборник ее стихов и предисловие к переводу книги А.Г.Наймана «Remembering Anna Akhmatova» [1, с. 337, 361, 404], устроил празднование ахматовского юбилея в Театре поэзии в Бостоне [1, с. 399]. Столько он не сделал для памяти Цветаевой. Правда, посвященные Ахматовой стихотворения, кроме двух, оставил вне своих сборников, а в цикле, названном по-ахматовски «Anno Domini» [4, с. 466], одноименное стихотворение, по его словам, «с А.А.А. не связано» [4, с. 464]. Возможно, духовное общение с ней он считал вполне «интимным», а образ Ахматовой был для него слишком самостоятельным и не вписывался в какой-то определенный контекст его собственного творчества.

В их личном и поэтическом общении особая роль принадлежит почти самому раннему времени — 1962 году. В хронике жизни и творчества Бродского под этим годом отмечено: «Осень и зима — Бродский живет в Комарове на даче ученого биолога Р.Л.Берг (правильно — «академика Берга» [2, с. 79], у которого учился его

¹ Статья была написана в последние дни жизни учёного, ею завершается творческий путь Сергея Ивановича Кормилова (6 июня 1951—20 июня 2020).

отец. — С.К.), где работает над «Песнями счастливой зимы». Тесное общение с Ахматовой» [1, с. 332]. 1962-й — первый год его особенно интенсивного творчества. Дело не только в количестве написанного. «Лирика повседневно, поэтические ресурсы просторечия, умение открывать метафизическую подоплеку в простом и обыденном — всему этому Бродский учился, и к 1962 году серьезные стихи такого рода стали решительно преобладать над абстрактно-романтическими» [1, с. 61]. «От предчувствия страданий и утрат, — говорится о его поэзии в целом, — все прожитое, уже состоявшееся, превращается в легенду, где каждая мелочь: дерево, гудок парохода — живописна, поэтична. Но это еще не окончательное преобразование своей поэтической вселенной. <...> Можно взглянуть на ситуацию с точки зрения мировой истории, с точки зрения бесконечной перспективы ситуаций в пространстве и времени, с точки зрения Вечности» [5, с. 71]. То же и у поздней Ахматовой.

Л.В.Лосев констатировал: «На протяжении всей своей взрослой жизни Бродский писал стихи в осязательном присутствии смерти» [1, с. 268]. Да, с больным сердцем в сорок лет удивился, что жизнь «оказалась длинной» [6, с. 104]¹. Это не значит, что тема смерти у него мыслью о ней и ограничивалась. Другой литературовед выразился точно: «Поэтика Бродского служит стремлению преодолеть страх смерти и страх жизни» [8, с. 273]. Этому он тоже мог учиться у Ахматовой, несколько ей не подражая. О смерти и кладбище (погосте, могиле) у нее очень много ранних стихов, не уходит эта тема и позднее (в «Реквиеме» есть прямое олицетворяющее стихотворное обращение «К смерти») и по-новому звучит в позднем творчестве («Приморский сонет», 1958, «Родная земля», 1961). Поначалу она казалась лишь пессимистическим поэтом темы несчастной любви. Но Н.В.Недоброво в статье «Анна Ахматова», написанной еще в 1914 г., пророчески заявил, что «самое голосоведение Ахматовой, твердое и уж скорее самоуверенное, самое спокойствие в признании и болей, и слабостей, самое, наконец, изобилие поэтически претворенных мук, — все это свидетельствует не о плаксивости по случаю жизненных пустяков, но открывает лирическую душу скорее жесткую, чем слишком мягкую, скорее жесткую, чем слезливую, и уж явно господствующую, а не угнетенную» [9, с. 227].

Немаловажна у Ахматовой и тема забвения (временной «смерти»), также преодолеваемого. «Забудут? — вот чем удивили! / Меня забывали сто раз, / Сто раз я лежала в могиле, / Где, может быть, я и сейчас. // А Муза и глухла, и слепа, / В земле истлевала зерном, / Чтоб после, как Феникс из пепла, / В эфире восстать голубом» [7, с. 207], — написала она в 1957 г., намекая на евангельские слова: «<...> если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин 12:24). В 1961, может быть, в 1962 г. почти никому тогда не известный Бродский написал стихотворение «Бессмертия у смерти не прошу...» [10, с. 153], где утверждал: «<...> с каждым днем я прожитым дышу / уверенней и сладостней и чище», — характерно для него отдавая предпочтение прошлому, он вслед за Маяковским был «заморожен» «будущим и проблемой времени» [1, с. 321]. Поэт вообще говорит об отсутствии связи между ним и временем, но не по его вине: «Да. Времени — о собственной судьбе / кричу все громче голосом печальным. / Да. Говорю о времени себе, / но время мне отвечает молчаньем». На петербургских набережных ему «холодно и ветрено» (сиюминутное ощущение), но вместе с тем и «вечно». Это для Бродского тоже характерно: «Мотив “тоски необъяснимой”, недолговечности всего материального, постоянного соседства жизни и смерти особенным светом окрашивает все, уже пройденное, уже состоявшееся» [5, с. 68]. Смерти поэт, однако, сопротивляется: «И осенью и летом не умру, / не всколыхнется зимняя простынка, / взгляни, любовь, как в розовом углу / горит меж мной и жизнью паутинка». «Зимняя простынка», очевидно, небольшой сугроб, что мог бы образоваться снегом, который насыпался бы на могилу (по видимости «всколыхнул», приподнял землю). Но связь с жизнью тонка, словно паутинка в углу комнаты. «Розовый» — символ молодости и свежести, поддерживаемый пока еще счастливой любовью. И хотя смерть непобедима, концовка стихотворения умиротворенная: «Пусть время обо мне молчит. / Пускай легко рыдает ветер резкий / и над моей могилой еврейской / младая жизнь настойчиво кричит». А это по-пушкински («Брожу ли я вдоль улиц шумных...»). Бродский говорил С. Волкову, что «в свое время в Ленинграде возникла группа, по многим признакам похожая на пушкинскую “плеяду”» [2, с. 66]. Эта группа, то есть Иосиф и его «братья» по поэзии, составила ближайшее молодое окружение Ахматовой в ее последние годы.

Бродский не отождествляет смерть и вечность, хотя впоследствии («Bagatelle», напечатано в 1987 г.) напишет: «Ничего нет длиннее, чем жизнь после нас», правда, «воскресавших со скоростью, набранной к ночи курьерским» [6, с. 15]. В поэме «Зофья» (апрель 1962) автор задавал риторический вопрос: кто еще может, кроме героини, «Не чувствуя ни времени, ни дат, / всеобщим Solitude и Soledad, / прекрасною рукой и головой / нащупывая корень мировой, <...> / нащупывать бессмертное О, Д — <...> / нащупывать на рОдине весь гОД? / В неверии — о госПОДи, mein Gott, / выискивать не АД уже, но ДА — / нащупывать свой выхОД в никогДА» [10, с. 175].

В первом стихотворении 1962 г. «Мой голос, торопливый и неясный...», Бродский воображает личное забвение и воспоминание возлюбленной о нем умершем, по-лермонтовски способном фантастически чувствовать после смерти (такое сильное его чувство): «<...>и, может быть, забыв про все на свете, / в иной стране — прости! — в ином столетье / ты имя вдруг мое шепнешь беззлбно, / и я в могиле торопливо

¹ Кстати, слова «пока мне рот не забили глиной» не заимствованы ли подсознательно из «Поэмы без героя», где «рот» ахматовской Седьмой элегии (излюбленный жанр Бродского) «черной замазан краской / И сухою землей набит» [7, с. 337]?

вздрогну» [10, с. 159]². Второе стихотворение, «Письмо к А.Д.», завершается словами «широкое море забвенья» [10, с. 161]. Страстный курильщик с большим сердцем не надеялся пережить свой век («Век скоро кончится, но раньше кончусь я» [12, с. 131] и в 1962 г. распространял свой прогноз не только на физическое существование. «У Чеслава Милоша,— напоминал Л.В.Лосев,— есть стихотворение “Песенка о конце света”, суть которого в том, что в Судный день и после продолжается рутина жизни: “А другого конца света и не будет!” Это очень близко к тому, что имеет место в “Post aetatem nostrum” и пьесе “Мрамор”,— и добавлял в примечании: «У раннего Бродского встречаются и более традиционные научно-фантастические и дистопические мотивы, например, в стихотворении “А.А.Ахматовой” <...>» [1, с. 277, 321]. Первое среди посвященных Анне Андреевне, оно было написано в день ее рождения, 24 июня, второпях. Но раньше, 6 июня (день рождения Пушкина), появилась оптимистическая «Инструкция опечаленным» с эпиграфом о поэте из ахматовского «Читателя» (1959): «Не должен быть очень несчастным / и, главное, скрытым...» [10, с. 188]. По мнению Ахматовой, «Чтоб быть современнику ясным, / Весь настежь распахнут поэт» [7, с. 278]. Ни она, ни Бродский не были всегда и всем до конца «понятными», старшая же считала, что произведение не может быть глубоким без «тайны», подтекста. Вместе с тем она так характеризовала свою «Поэму без героя» и ее читателей: «Ничто не сказано в лоб. Сложнейшие и глубочайшие вещи изложены не на десятках страниц, как они привыкли, а в двух строчках, но для всех понятных» [7, с. 364]. В предисловии 1944 г. было жестко сказано: «Никаких третьих, седьмых и двадцать девятых смыслов поэма не содержит» [7, с. 1, 320]. С этим Бродский вряд ли согласился. Он «возбуждался» только от первого варианта бесконечно дописывавшегося произведения. «Впоследствии, когда “Поэма” разрослась,— признавался взыскательный критик,— она мне стала представляться слишком громоздкой. Впечатление свое о “Поэме” я могу сформулировать довольно точно с помощью одной сентенции, даже не мной высказанной: “Самое замечательное в «Поэме», что она написана не «для кого», а «для себя»» [2, с. 73]. Советские популярные поэты-«либералы» стали ему чужды, потому что их «эзопов язык и как литературный стиль, и как форма общественного поведения был для него неприемлем» [1, с. 129]. «Не в характере Бродского создавать тайны и скрывать что-либо, это очень открытый писатель» [3, с. 61].

С оптимизмом ахматовского «Читателя» поэт согласился безоговорочно: «Не следует настаивать на жизни / страдальческой из горького упрямства» — и несмотря на свое неприятие марксизма диалектически добавил: «Чужбина так же сродственна отчизне, / как тупику соседствует пространство» (хотя вопрос об эмиграции перед ним еще отнюдь не стоял). В «Читателе» есть также далеко не безразличное ему противопоставление скоротечного времени и вечности: «Наш век на земле быстротечен / И тесен назначенный круг, / А он неизменен и вечен — / Поэта неведомый друг» [7, с. 279]. Правда, Л.В.Лосев, констатируя неверие поэта в личное спасение, категорично, противореча самому себе, заявлял, что «единственная форма загробного существования, признаваемая Бродским, это — тексты, «часть речи», его горацанский памятник» [1, с. 272], хотя в стихотворении середины 70-х гг. «...и при слове «грядущее» из русского языка...», начинающемся союзом (прием, который был введен в поэзию Ахматовой), сказано именно так: «От всего человека вам останется часть / речи. Часть речи вообще. Часть речи» [4, с. 369]. А.М. Ранчин, говоря о стихотворении «На столетие Анны Ахматовой» (1989), тоже слишком категорично настаивает на противоположном: «“Душа” живет и после смерти поэта, но не потому, что это именно душа поэта. Творческий дар покойной Анны Ахматовой ценит и прославляет младший поэт — Бродский, но текст нигде не утверждает связь бессмертия и стихотворства. Пушкин, вслед за Горацием, противопоставлял смертную и бессмертную «части». Бродский обращается к привычной христианской антитезе «душа — тело (часть тленная)»: душа едина и неразделима, она не именуется частью, «часть» — тело, брэнное и, когда его оставит душа, лишенное божественного начала» [13, с. 215-216]. Сознание же бывает не единым, делимым. Ни одно стихотворение не выражает всё мировоззрение автора. Бродский говорил об Ахматовой: «<...> она стала частью нас, частью наших душ <...>».

² Один из традиционных мотивов его поэзии — «продолжение органической жизни после смерти автора. Вариации на эту пушкинскую тему («племя младое, незнакомое») встречается у Бродского в стихотворениях «От окраины к центру» (ОВП), «1972 год» (ЧР), «Fin de siècle» (ПСН) и в последнем законченном стихотворении «Август» (ПСН). Имеется у него и более брутальный вариант этого мотива — продолжение жизни как разложение, распад: «падаль — свобода от клеток, свобода от целого: апофеоз частиц» («Только пепел знает, что значит сгореть дотла...», ПСН). Несмотря на натурализм, в этом стихотворении речь идет не только об органике. Падаль, которую отроет будущий археолог, это и «зарытая в землю страсть». Этот посмертный дуализм разложения, когда разложению, то есть не исчезновению, а изменению формы существования, подвергается не только материальная, но и духовная ипостась человека, вероятно, навеян чтением Марка Аврелия» [1, с. 272], если не Ахматовой, писавшей после смерти Пастернака: «Умолк вчера неповторимый голос, / И нас покинул собеседник рощ. / Он превратился в жизнь дающий колос / Или в тончайший, им воспетый дождь» [7, с. 252]. Еще в 1912 г. («Умирая, томлюсь о бессмертии...») у нее было: «А люди придут, зароят / Мое тело и голос мой» [7, с. 64]. В 1960-е гг. те же слова повторились в обращении к Цветаевой: «Так зачем же твой голос и тело / Смерть до срока у нас отняла?» («Ты любила меня и жалела...» [11, с. 103]). «Голос» во всех случаях — метонимическая метафора поэтического дара. (Сокращенно в книге Л.В.Лосева обозначаются сборники Бродского «Остановка в пустыне», «Часть речи», «Пейзаж с наводнением».) Лосев обратил внимание и на следующее. «В 1974 г. в шутивном послании Андрею Сергееву Бродский выражал желание быть похороненным в Венеции: «Хотя бесчувственному телу / равно повсюду истлевать, / лишенное родимой глины, / оно в аллювии долины / ломбардской гнить не прочь. Понеже / свой континент и черви те же<...>» [1, с. 322]. На его надгробии начертаны слова “Letum non omnia finit” («Со смертью не всё кончается») из элегии Проперция. «Возможно, Ахматова говорила с Бродским об этой элегии в период их частого общения осенью 1965 г., так как именно тогда она перечитывала это стихотворение и утверждала, что “Проперций — лучший элегик”» [1, с. 284, 322].

<...> Не слишком-то веря в существование того света и вечной жизни, я, тем не менее, часто оказываюсь во власти ощущения, будто она следит откуда-то извне за нами, наблюдает как бы свыше: как это она делала при жизни... Не столько наблюдает, сколько хранит» [2, с. 100-101]³. «Не слишком-то веря» все-таки значит колеблясь, сомневаясь. Давид Самойлов записал в дневнике: «Бродский говорил, что мир реальный есть проявление мира ирреального» [14, с. 98]. Лосев сделал примечание к реплике Горбунова «Я в мае родился, под Близнецами» из поэмы «Горбунов и Горчаков»: «День рождения Бродского — 24 мая. Согласно астрологии, для родившихся под созвездием Близнецов (21 мая — 20 июня) характерен глубокий дуализм, гармоническая двусмысленность <...>. По этим же представлениям «близнецы» — мистики и парадоксалисты» [4 с., 515]. С одной стороны, автор стихотворения «На столетие Анны Ахматовой» повторял девиз графов Шереметевых «Бог сохраняет все» [4, с. 129]. В латинском варианте «Deus conservat omnia» девиз украшает герб Фонтанного дома, где жила Ахматова, и который стал эпитафией к «Поэме без героя» [7, с. 319]. С другой стороны, на четверть века раньше ссыльный поэт, основной частью стихотворения «В деревне Бог живет не по углам...» вроде бы подтверждая его начало, заканчивал четверостишием, отделенным от нее пробелом: «Возможность же все это наблюдать, / к осеннему прислушиваясь свисту, / единственная, в общем, благодать, / доступная в деревне атеисту» [4, с. 172]. В «Инструкции опечаленным» говорится об «одиночестве бездонном» [10, с. 188] явно автобиографического героя. «Бездонность» сродни вечности. Не потому ли Бродского стало так тянуть к Ахматовой, в «вечности» бытия которой он не сомневался?

Комментарий Лосева гласит: «Тема стихотворения «А.А.Ахматовой» — символическое бессмертие Ахматовой — является откликом на собственные ахматовские прозрения о своем будущем, в особенности в «Эпигаме» «Requiem'a»» [4, с. 464-465]. Этого бессмертия, по Бродскому, не будет у ее современников («нас»): «в одночасье современники умрут», когда «Закричат и захлопочут петухи, / загрохочут по проспекту сапоги, / засверкает лошадиный изумруд». Имеется в виду «пробуждение» (петухи кричат на рассвете) к новой, вечной жизни после Страшного суда. Настроением, близким к апокалиптическому, пронизан «Реквием». Картина распятия в нем предваряется стихами «Хор ангелов великий час восславил, / И небеса расплавились в огне» [7, с. 201]. Отдаленное соответствие есть не в Евангелиях, а в Апокалипсисе: «И небо скрылось, свившись как свиток<...>. И взял Ангел кадильницу, и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю: и произошли голоса и громы, и молнии, и землетрясение.

И семь Ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить.

Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью<...>» (Откр. 6: 14; 8: 5—7).

Ахматова предсказывает воскресение жертв большого террора, гарантированное принесением Себя в жертву Христом.

Из «Реквиема» у Бродского перекочевали на Невский проспект, неподалеку от которого находится Фонтанный дом, «шаги тяжелые солдат» [7, с. 197] — грохочущие сапоги в стихотворении. Лосев указывает на строку «Под кровавыми сапогами» из Вступления [4, с. 465]. 20 октября того же года («Я шел сквозь рощу, думая о том...») Бродский символически рассказал о своей оставленности. Лирического героя, бродящего по роще, на шоссе поджидала машина, но не дождалась. «Я полчаса тропинки расплетал, / потом солдатским шагом расторопным / я на бугор взбежал и увидел: / шоссе пустынным было и неровным». Солдат — тот, кто подчиняется (не потому ли уносятся в стихотворении, посвященном Ахматовой, «невредимые солдаты духоты» [10, с. 194]⁴?). Но готовность подчиняться необходимости замешкавшемуся герою не помогла, он остался в одиночестве между небом и землей: «<...> небо, подгибая провода, / не то сливалось с ним (шоссе.— С.К.), не то касалось» [10, с., 199]. То же представлялось поэту 24 июня: «до асфальта провисают провода» [10, с., 194].

Откуда взялся «лошадиный изумруд» — зеленый глаз лошади? Он был в стихотворении «Ты поскачешь во мраке, по бескрайним холодным холмам...»: «Между низких ветвей лошадиный сверкнул изумруд» [10, с., 226]. В «Зофье» Бродский писал про «Апокалипсис тоски <...> / при виде настигающих теней, / и грохот огнедышащих коней, / и алый меч (архангела. — С.К.) в разверстых небесах», и снова «апокалиптических коней» [10, с., 176, 177], а ранее — про безмерно обожаемый «изумруд, / ухмылки изумрудные гостей» [10, с. 175]. В эссе «Муза плача» молодая Ахматова, которой случалось упоминать зеленые глаза («змеиный» признак⁵) в своих стихах, предстает сама «со светлыми серо-зелеными, как у горного барса, глазами», ее тоской «конечного по бесконечному» объясняется «повторяемость любовной темы», признается, что «значительные изменения», происходившие в ахматовском творчестве, позволяют «различить монотонность, присущую бесконечному, более отчетливо» [15, с. 29, 37]. Известно, Ахматова не отрицала в себе нечто колдовское, сверхъестественное. Через четыре дня после 24 июня Бродский написал страшное стихотворение, начинающееся словами «В тот вечер возле нашего огня / увидели мы черного коня» [10, с. 192, 193]. Черный

³ В речи на вечере памяти издателя Карла Проффера он сказал: «Ушедшие оставляют нам часть себя, чтобы мы ее хранили, и нужно продолжать жить, чтобы и они продолжались. К чему, в конце концов, и сводится жизнь, осознаем мы это или нет» [1, с. 272].

⁴ Л.В.Лосев комментирует: «Мотив духоты, нехватки воздуха, постоянно связан с трагической тематикой в поэзии Ахматовой<...>» [4, с. 465]. Он переходит в позднейшие стихи Бродского [4, с. 316, 557; 2, 236, 505].

⁵ «Пока твой бюст змеиный изумруд / навек не охладит<...>», — говорит Бродский в шуточном обращении «К Цинтии» 1968 г. [6, с. 311]. Слово «изумруд» он применял именно к глазам: «два кошачьих изумруда» упоминаются в «Зимней почте» 1964 г. [4, с. 391].

цвет — траурный, этот эпитет настойчиво повторяется⁶. Лосев со ссылкой на исследования Т.Патеры сообщает: «Наиболее частые у Бродского цвета<...> — черный и белый, за ними идут со значительным отрывом в порядке убывающей частотности красный, серый, зеленый (серо-зеленый — цвет глаз Ахматовой.— С.К.), голубой, коричневый, синий<...>» [1, с. 296]. Белый цвет в восточных культурах — также траурный, да и в русской это цвет савана. Лосев указывает на то, что «Конь вороной» связан «стилистически и образной системой с двумя другими стихотворениями 1962 г. — «Под вечер он видит, застывши в дверях...»<...> и «Ты поскачешь во мраке по бескрайним холодным холмам...»<...>. Общим ключом мотивов коня и всадника в ранней поэзии Бродского являются строки из 31-й главы поэмы-мистерии «Шествие» (1961):

Но к нам идет жестокая пора,
Идет пора безумного огня.
(О, стилизованный галоп коня,
И пена по блестящим стремянам,
И всадник Апокалипсиса — к нам!).

На черном коне скачет третий всадник Апокалипсиса, «имеющий меру в руке своей» (Откр. 6: 5)» [4, с. 445, 446]. Символическим в 1962 г. выступает и мотив холмов. Одноименная поэма — «о всепроникающем ужасе смерти, “трепете естества”» [1, с. 280]. Ее концовка: «Смерть — это только равнина. / Жизнь — холмы, холмы» [10, с. 234]⁷. То есть смерть все унифицирует, а жизнь — это разнообразие, цепочка подъемов. В стихотворении «Ты поскачешь во мраке, по бескрайним холодным холмам...» автор утверждает, что «тот вернулся к себе, кто скакал по холмам в темноте» [10, с. 226].

Во второй строфе посвященного Ахматовой стихотворения «Запоет над переулком флажолет, / захохочет под каналом пистолет, / загремит на подоконнике стекло <...>». С мягким, напоминающим флейту звуком флажолета контрастирует грохот пистолета, из которого расстреливали советских узников, героев «Реквиема». Стекло на подоконнике — окно в новый, лучший мир, перед приходом которого и «станет в комнате особенно светло», в котором и аллеи будут подстрижены «по-новому». Это произойдет в XXI в., до которого Бродский не надеялся дожить: «Так начнется двадцать первый, золотой», когда прежний мир испарится,— начнется, «на вопросы и проклятия в ответ / обволакивая паром этот свет». А «солдаты духовты» умчатся, может быть, в космос⁸, на Марс, «словно тени яйцевидных кораблей»⁹. Еще только начинались и были сенсацией пилотируемые космические полеты, предсказанные в России первым советским научно-фантастическим романом — «Аэлитой» А.Н.Толстого. По-видимому, один из улетевших в стихотворении, автор, обращается к героине: «Но на Марсовое поле дотемна / Вы придете одишенька-одна, / в синем платье, как бывало уж не раз, / но навечно без поклонников, без нас» и все-таки их вспоминая. У нее «трубочка бумажная в руке», очевидно, со стихами. К строчке «лишь такси за Вами едет вдаль» [там же, I, 194] Лосев дает реальный комментарий: «В годы знакомства с Бродским Ахматова, как правило, ездила по городу и за город только на такси<...>» [4, с. 465]. Но если у Бродского, как у Мандельштама, «“шифр” к энигматичному, загадочному тексту скрывается в других, более поздних» [13, с. 21], то почему этого не могло быть в текстах, по видимости простых? Тогда не исключено, что по ассоциации ахматовское такси преобразовалось в автомобиль, бросивший одинокого героя стихотворения «Я шел сквозь рощу, думая о том...»¹⁰. Свои одиночество и бесприютность автор хотя бы подсознательно мог соотносить с ахматовскими. Вокруг героини пустота. Она заплачет, а мир, вдруг утративший обретенную было красоту (или автор забыл об этом?), над ней будет смеяться: «Вы поднимете прекрасное лицо — / громкий смех, как поминальное слово, / звук неясный на нагретом мосту — / на мгновенье взбудоражит пустоту» [10, с. 194]. Впрочем, это может быть и нервный смех самой героини. Исчезнувшие поклонники ее не увидят, как и раньше не видели слез мужественной женщины, по достоинству не оцененной своей страной: «Я не видел, не увижу Ваших слез, / не услышу я шуршания колес, / уносящих Вас к заливу, к деревьям, / по отчеству без памятника Вам» [10, с. 194-195]. Еще не поставленный памятник — конечно, из Эпилога к «Реквиему». А важнейший ахматовский мотив «невстречи» у Бродского получил

⁶ Здесь не исключена скрытая ирония. Как замечает Лосев, «Е.Петрушанская указывает на забавную параллель к этому пассажиру и, возможно, его подсознательный источник — детские «страшилки» по типу: “В черном, черном дворце в черном, черном гробу лежит черный, черный мертвец...”» [1, с. 321].

⁷ Первое французское издание произведений И.Бродского (1966) называлось “Collines et autres poèmes” («Холмы и другие стихотворения») [1, с. 343].

⁸ Как у Маяковского («Сергею Есенину»). Бродский о своей посмертной судьбе писал: «<...> скоро, как говорят, я сниму погоны / и стану просто одной звездой. // Я буду мерцать в проводах лейтенантом неба / и прятаться в облако, слыша гром<...>» («Меня упрёкали во всем, окромя погоды...», 1994 [6, с. 227]). Не веря в буквальное земное бессмертие, поэты допускают существование хотя бы распавшегося на атомы организма в околоземном пространстве. Утопист Маяковский надеялся, что в будущем наука сумеет собрать и возродить человека (поэма «Про это»), Бродский — нет, но в том же 1994 г. тосковал о невидимом в небесах (за мертвыми как бы заперта дверь): «О если бы птицы пели и облака скупали, / и око могло различать, становясь синей, / звонкую трель преследуя, дверь с ключами / и тех, кого больше нету нигде, за ней. <...> // О если б прозрачные вещи в густой лазури / умели свою незримость держать в узде / и скопом однажды сгуститься — в звезду, в слезу ли — / в другом конце стратосферы, потом — везде» [6, с. 210].

⁹ Они «помчатся, задевая за кусты». В «Загадке ангелу» (тоже 1962 г.) «Висит в кустах аэростат» [4, с. 153].

¹⁰ В том же году у Бродского «На пустое шоссе, / пропадая в дыму редколесья, / вылетают такси, и осины глядят в поднебесье» («От окраины к центру» [4, с. 218]).

соответствие в теме людей, которые не видят друг друга, не могут видеть. В «Холмах» «Смерть — это всё, что с нами, — / ибо они — не узрят» [10, с. 233]. Здесь, как и в стихотворении об Ахматовой, виной тому — смерть¹¹. В других случаях — разлука: «О куда ты спешишь, по бескрайней земле пробегая, / как здесь нету тебя! Ты как будто мертва, дорогая» («Письмо к А.Д.» [10, с. 160]), «Вдоль оврагов пустых, мимо черных кустов, — не отыщется след, / даже если ты смел и вокруг твоих ног завивается свет, / все равно ты его никогда ни за что не сумеешь догнать» («Ты поскачешь во мраке, по бескрайним холодным холмам...» [10, с. 226]). Внешние признаки героини «Зофьи» «останутся когда-нибудь без нас <...>» [10, с. 175].

Предпоследняя строфа обращенного к Ахматовой стихотворения — «В теплой комнате, как помнится, без книг, / без поклонников, но также не для них, / опирая на ладонь свою висок, / Вы напишете о нас наискосок» — завершается строкой, отражающей особенность ее почерка, которую она, как известно, поставила эпиграфом к своей «Последней розе» (9 августа 1962). Первоначально на месте этой строфы были две, первая из которых начиналась стихами «Умирания, смертей и бытия / соучастник, никогда не судия», а вторая кончалась — «без читателей, без критиков и без / всех людей — стихотворенье для небес» [4, с. 463]. Исключенные строки совершенно в духе всего этого текста и были сняты слишком самокритичным автором, впоследствии сказавшим С.Волкову, что почти все эти стихи — «в общем довольно безнадежные, с моей точки зрения. По крайней мере, на сегодняшний день. <...> Начало у стихотворения беспомощное — не то чтобы беспомощное, но слишком там много экспрессионизма ненужного. А конец хороший. Более или менее подлинная метафизика» [2, с. 93]. Самокритичное отношение не помешало поэту только «Закричат и захлопочут петухи...» и «На столетие Анны Ахматовой» из всех стихотворений, обращенных к ней, включить в свои сборники («Остановка в пустыне», цикл «Холмы»; «Пейзаж с наводнением», цикл «Примечания папоротника»).

«Вы промолвите тогда: “О, мой Господь! / Этот воздух загустевший — только плоть / душ, оставивших призвание свое, / а не новое творение Твое!”» [10, с. 195] — также самокритичная последняя строфа анализируемого стихотворения. Страшный суд в нем прямо не упоминается, но апокалиптическая атмосфера присутствует, и Ахматова ее чувствовала. Безобразный суд над «тунеядцем» стал, конечно, тяжелым испытанием для нервов поэта. «20 октября 1964 года, через полгода после суда, Анна Андреевна писала Иосифу в деревню Норенское:

“Иосиф,

из бесконечных бесед, которые я веду с Вами днем и ночью, Вы должны знать о всем, что случилось и что не случилось.

Случилось:

И вот уже славы

Высокий порог,

Но голос лукавый

Предостерег и т.д.

Не случилось:

Светает — это страшный Суд и т.д.”» [18, с. 173].

Прочитывала она свою поэму «Путем вся земли» и начало четверостишия 1964 г. [7, с. 302]. Ведь в начале стихотворения Бродского тоже светает.

Уже давно, 12 января 1917 г., в Слепневе Ахматова представляла себе «дивный град» и некий «голос милый, / Как будто нет еще таинственной могилы, / Где день и ночь, склонясь, в жары и холода / Должна я ожидать Последнего Суда» («Не оттого ль, уйдя от легкости проклятой...» [7, с. 117]). В «Поэме без героя» есть упоминание «долины Иосафата», это «предполагаемое место Страшного Суда» [7, с. 324, 345]. Да и воскресших мертвецов в ней по-своему судит автор.

Бродский писал про «плоть» и «души» не только в первом стихотворении об Ахматовой, но и, например, в одном из важнейших — «От окраины к центру» тоже 1962 г.: «<...> не душа и не плоть — / чья-то тень<...>. / До чего ты бесплотна» [10, с. 217]. Тень — тоже нередкий и значимый ахматовский образ, «плоть» («тело») и «душа» — тем более, особенно в раннем творчестве. «Тело»: «Не жаль, что ваше тело / Растает в марте, хрупкая Снегурка!», «мой труп холодный», «Все тело мое изгибалось, / Почувствовав смертную дрожь», «Ранят тело твое пресвятое» (о России), [7, с. 29, 38, 76, 97,]. Стихи с упоминанием души: «Знаешь, я читала, / Что бессмертны души», «Как соломинкой, пьешь мою душу», любовная память «другим — это только пламя, / Чтоб остывшую душу греть», «нестерпимо больно / Душе любовное молчанье», «душа свободна и чужда / Медлительной истоме сладострастья», «Только душу мне оставил» и «Архангел Божий / За душой его придет» [7, с. 30, 31, 75, 78, 80, 112]. Ближайшее соседство в стихах материального и духовного: «В недуге горестном моя томится плоть, / А вольный дух уже почиет безмятежно», «Я вошла вчера в зеленый рай, / Где покой для

¹¹ «Не случайно в “Памяти Т.Б.”, как и других стихотворениях о смерти, акцентируются особые словесные образы — негативы, как <...> «несвиданье» или «шапки недолей» в «Похоронах Бобо». Подобные образы-негативы, несомненно, помнят «невстречи» в поэзии Ахматовой, перекликаются с ними, воспринимают и обновляют ее поэтические открытия» [16, с. 79]. Недаром «все ранние стихотворения Бродского начала 1960-х годов» содержат «восхищение поэтическим даром и нравственным обликом поэтов-предшественников, среди которых на первом месте А.А.Ахматова» [17, с. 152]. Неверно, что «посвящения Бродского адресованы лишь умершим стихотворцам» [13, с. 94].

тела и души<...>» [7, с. 77, 115]. Ранний Бродский явно не прошел мимо опыта Ахматовой. В частотном словаре его языка «лексема душа входит в двадцатку самых частотных слов, занимая 15-ю позицию. В частотном словаре языка поэта «раннего», доэмигрантского, периода лексема душа занимает 8-ю позицию, а в «поздний» период<...> уходит из числа самых частотных» [17, с. 33]. В «Холмах» есть и слияние души с плотью в смерти: «Смерть — это наши жилы, / наша душа и плоть» [10, с. 233].

А.М.Ранчин считал, что у Бродского «число реминисценций из текстов Анны Ахматовой<...> невелико» [13, с. 8]. Не так уж оно невелико¹², а главное, кроме собственно реминисценций есть еще совпадение тем, мотивов и «ключевых слов». Это необязательно заимствования, но показательны и совпадения несмотря на то, что будто бы «между его и ахматовской поэзией и поэтикой нет ничего общего» [1, с. 7]. А.А.Фокин считает аналогичное утверждение В.П.Полухиной «не только спорным, но и в корне неверным. Прежде всего, из знакомства с поэзией Ахматовой Бродский вынес вкус к акмеистической зоркости, конкретности деталей, точности психологических характеристик и мотивировок. Так, уже стихи 1962—1966 годов насыщены предельной конкретикой, которая воплощается через важный и чрезвычайно хорошо усвоенный Бродским урок поэтической техники Ахматовой<...>» [19, с. 91]. Пусть сказанное насчет «точности» верно, однако в остальном «техника» у этих двух поэтов разная. Сходства же содержания и мотивов это не исключает.

Варирует Бродский и мотивы собственных стихотворений, в том числе первого из обращенных к Ахматовой. Например, «Эстонские деревья озабоченно...» (1 ноября 1962) подтверждает его неверие в свое будущее, в «пробуждение» с петухами: «Былое упоительней грядущего. / И прожитым уверенней дышу. / Ни облика, ни голоса петушьего / теперь уже в себе не нахожу». А далекий автобус в четверостишии «Ни ревности к грядущему, ни робости. / Лишь новым соответствием души — / рожок международного автобуса, / рыдающий в заоблачной тиши» [10, с. 201] побуждает вспомнить автомобиль, не дождавшийся возвращения героя из рощи («Я шел сквозь рощу, думая о том...»).

«Реминисценции у Бродского — лишь вершина айсберга, подтекста его стихотворений. Они образуют нить, ведущую от одного цитируемого произведения к другим, прямо в стихотворениях Бродского не отразившихся» [13, с. 86]. Это относится и к автореминисценциям или устойчивым мотивам.

В первом стихотворении диптиха 1962 г. с посвящением А.А.А., «Когда подойдет к изголовью...», преобладает пейзаж Комарова, но с уже известным нам мотивом невесты в будущем «Вас» и «нас», прозвучавшим в концовке: «и сосны — / для Вас уже тени, / недолго деревья для нас». Во второй части с пометой в скобках («явление стиха») к пейзажу относится только «тропинка с участка» (ахматовского), а строки о «стихе»: «он просто пришел издалека / и молча лежит на столе» [10, с. 206] — Л.В.Лосев прокомментировал так: «Ср. у Ахматовой в «Поэме без героя» (Часть первая, «Послесловие»): “Все в порядке: лежит поэма, / И, как свойственно ей, молчит”» [6, с. 504].

Комаровский пейзаж дан и в «Утренней почте для А.А.Ахматовой из города Сестрорецка», но в восьми строках есть и бессмертие («В кустах Финляндии бессмертной») и вечность: те же сосны и прочие природные красоты «осенены<...> / любовью Вашей — ежечасной / и Вашей добротою — вечной» [10, с. 228].

Еще одно стихотворение 1962 (?) г., «Не то Вам говорю, не то...», посвящения не имеет, но «Вы» с прописной буквы — обращение к той же. Детальное самобичевание автор завершает четверостишием «О не жалеете Ваших слов / о нас. Вы знаете ли сами, / что неубыточно любовь / делить Вам можно с небесами» [10, с. 335]. Речь и тут идет о вечной («небесной», то есть божественной) доброте (любви) к «нам».

Ахматовские или совпадающими с ними образы и мотивы мелькают также в других стихотворениях 1962 г. Созданное в Комарове [4, с. 466] 2 февраля «Я обнял эти плечи и взглянул...» — описание интерьера с подлинно ахматовской «вещностью», но более пространное — заканчивается словами «И если призрак здесь когда-то жил, / то он покинул этот дом. Покинул» [10, с. 163]. В концовке третьей «Северной элегии» Ахматовой («В том доме было очень страшно жить...», 1921) лирическая героиня, рассказав об испытанных страхах, спрашивала того, с кем прожила семь лет, то есть расстрелянного в том году Гумилева: «Теперь ты там, где знают всё, — скажи: / Что в этом доме жило кроме нас?» [7, с. 262]. У Бродского тоже 5-стопный ямб, как в «Северных элегиях», только рифмованный. Третья тогда не была опубликована [7, с. 418], но своим молодым друзьям Анна Андреевна «и читала, и показывала написанное» [2, с. 72], может быть, и что-то из ненапечатанного старого.

Стихотворение «Топилась печь. Огонь дрожал во тьме...» (ноябрь 1962) интонацией строки «Какой печалью надо обладать» напоминает ахматовские «Какую власть имеет человек, / Который даже нежности не просит!» («Вечерние часы перед столом...», 1913) и «Всего прочнее на земле печаль / И долговечней — царственное Слово» («Кого когда-то называли люди...», 1945) [7, с. 66, 303] в том же 5-стопном ямбе, а с печалью лирическому герою Бродского приходится «пейзаж неясный долго вспоминать, / но знать, что больше нет его; не стало» [10, с. 205], как Ахматова после войны вспоминала уничтоженный оккупантами родной ей

¹² А.М.Ранчин видит в строке «язык что крыса, копошится в соре» из «Двадцати сонетов к Марии Стюарт» (1974) [4, с. 354] «аллюзию на ахматовские стихи на рождение поэзии: «Когда б вы знали, из какого сора / Растут стихи<...>» («Мне ни к чему одические рати...»<...>» [13, с. 41, 100]. Но едва ли не ближе к этим ахматовским словам строки «полна сейчас душа моя / каким-то сором ненавистным» [10, с. 235] из стихотворения 1962 (?) г. «Не то Вам говорю, не то...», где «Вы» — скорее всего А.А.Ахматова. Эту ее метафору Бродский вспомнил и в нобелевской речи: «Стихи, по слову Ахматовой, действительно растут из сора; корни прозы — не более благородны» [10, с. 6].

город-парк Царское Село: «О горе мне! Они тебя сожгли...» («Городу Пушкина», 1, 1945 [7, с. 282]). Ее «царственное Слово», возможно, аукнулось надеждой младшего поэта «в самом начале земного / движения — с мечтой о творце — / такое же ясное слов/ поставить в недалеком конце» («Затем, чтоб пустым разговорцем...» [10, с. 209]). Название его «Стансов городу» (2 июня 1962) перекликается с посвящением «Моему городу» к Эпилогу «Поэмы без героя» [7, с. 341]. Автор хочет «обручить» свою «бедную жизнь<...> / с красотой твоей / и с посмертной моей правотою» [10, с. 184]. У Ахматовой «Струится поток доказательств / Несравненной моей правоты» («Разрыв», 1, 1940 [10, с. 192]).

Есть и сравнительно частные переклички. Например, у старшей «в зеркале двойник не хочет мне помочь» («Когда лежит луна ломтем чарджуйской дыни...», 1944 [10, с. 217]); большую роль символика зеркала и зазеркалья играет в «Поэме без героя». У младшего в «Зофье» — своя таинственная двойственность: «Безмолвно наслаждаясь из угла, / все детство наблюдая зеркала, / <...> доподлинно почувствуешь ли в них, / себя уже сто крат переменяя, / портьеру или штору теребя, / почувствуешь ли в зеркале себя?» [10, с. 175-176]. Удвоение расширяет бытие человека, приближает к вечности. Его изменчивость этому не противоречит. У Бродского важнейшие — «мотивы бесконечности, целостности и гармонии. Коннотации с «бесконечностью» в лирике поэта разнообразнейшие: это время, вечность, волна, море, текучесть, изменчивость<...>» [16, с. 23]. Индивидуалистическое мирозерцание Бродского тоже не противоречит этому, оно «дает почти абсолютную свободу внутреннего мира от внешних обстоятельств, но обрекает и на одиночество, естественное, так как свою жизнь ты должен построить сам и сам, один, только ты, должен держать ответ перед вечностью» [5, с. 86]. Вечностью определяется и концепция времени, ведь «главное для поэта не поступательное движение времени, а его постоянство, иначе, безвременье, в котором все существует как бы одновременно: и древние греки, и Христос, и Пушкин, и прошлое, и настоящее, и сам автор во всем» [5, с. 81]. Поэтому даже очень старые стихи Ахматовой для него вполне актуальны. Он создает такую поэтическую структуру, «в которой голос прошлого и голос настоящего звучали бы одновременно, как доказательство реального существования вечности, по крайней мере в языке, литературе» [19, с. 124]. Последняя оговорка все-таки излишня. В своих поэтических «автопортретах» Бродский, избегая «какой-либо тени нескромности», как раз «не касается мотива творчества, некоего спасительного якоря почти всех его произведений<...>» [16, с. 140]. Подобно людям Серебряного века и Ахматовой в том числе он строил свою жизнь, словно художественное произведение, и даже тему смерти этому принципу подчинял.

1. Лосев Л. Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии. М.: Молодая гвардия, 2006. 448 с.
2. Волков С. Вспоминаю Анну Ахматову. Разговор с Иосифом Бродским // Ахматовские чтения. Вып. 3. Свою меж вас еще оставив тень... М.: Наследие, 1992. С. 60-101.
3. Новиков А. Поэтология Иосифа Бродского. М.: МАКС Пресс, 2001. 100 с.
4. Бродский И. Стихотворения и поэмы: В 2 т. Т. 1 / Сост., подгот. текста и примеч. Л.В.Лосева. СПб.: Вита Нова: Изд-во Пушкинского Дома, 2011. 653 с.
5. Малышева Г.Н. Очерки русской поэзии 1980-х годов (Специфика жанров и стилей). М.: Наследие, 1996. 175 с.
6. Бродский И. Стихотворения и поэмы: В 2 т. Т. 2. / Сост., подгот. текста и примеч. Л.В.Лосева. СПб.: Вита Нова: Изд-во Пушкинского Дома, 2011. 573 с.
7. Ахматова А. Соч.: В 2 т. Т. 1 / Сост., подгот. текста и примеч. М.М.Кралин; вступ. ст. Н.Скатова. М.: Правда, 1990. 448 с.
8. Баевский В.С. История русской поэзии. 1730—1980. Компендиум. 3-е изд., испр. и доп. М.: Новая школа, 1996. 320 с.
9. Недоброво Н. Милый голос. Избранные произведения. Томск: Водолей, 2001. 352 с.
10. Бродский И. Сочинения Иосифа Бродского: В 4 т. Т. 1. / Сост. Г.Ф.Комаров. СПб.: Пушкинский фонд, Париж — Москва — Нью-Йорк: Третья волна, 1992. 480 с.
11. Ахматова А. Соч.: В 2 т. Т. 2 / Сост., подгот. текста и примеч. М.М.Кралин; вступ. ст. Н.Скатова. М.: Правда, 1990. 432 с.
12. Бродский И. Сочинения Иосифа Бродского: В 4 т. Т. 3 / Сост. Г.Ф.Комаров. СПб.: Пушкинский фонд, Париж — Москва — Нью-Йорк: Третья волна, 1994. 446 с.
13. Ранчин А. «На пиру Мнемозины». Интертексты Бродского. М.: Новое литературное обозрение, 2001. 464 с.
14. Самойлов Д. Из дневника // Литературное обозрение. 1990. № 11. С. 98-99.
15. Бродский И. Сочинения Иосифа Бродского: В 8 т. Т. 5 / Сост.: В.П.Голышев, Е.Н.Касаткина, В.А.Куллэ; общ. ред. Я.А.Гордин. СПб.: Пушкинский фонд, 1999. 376 с.
16. Колобаева Л.А. И.А.Бродский: анализ поэтического текста. М.: Русский импульс, 2014. 176 с.
17. Романова И.В. Поэтика Иосифа Бродского: Лирика с коммуникативной точки зрения: монография. Смоленск: СмолГУ, 2007. 328 с.
18. Гордин Я. Перекличка во мраке. Иосиф Бродский и его собеседники. СПб.: Изд-во «Пушкинского фонда», 2000. 232 с.
19. Фокин А.А. Творчество Иосифа Бродского в контексте русской поэтической традиции: учебное пособие. Ставрополь: СГУ, 2002. 171 с.

References

1. Losev L. Iosif Brodskiy. Opyt literaturnoy biografii [Joseph Brodsky. Literary biography]. Moscow, 2006. 448 s.
2. Volkov S. Vospominaya Annu Akhmatovu. Razgovor s Iosifom Brodskim [Memories of Anna Akhmatova. Conversation with Josef Brodsky]. Akhmatovskie chteniya, iss. 3. Svoyu mezh vas eshche ostaviv ten'... Moscow, 1992, pp. 60-101.
3. Novikov A. Poetologiya Iosifa Brodskogo [Poetology of Joseph Brodsky]. Moscow, 2001. 100 p.
4. Brodskiy I. Stikhotvoreniya i poemys [Verses and poems]: in 2 vols, vol. 1. St. Petersburg, 2011. 653 p.
5. Malysheva G.N. Ocherki russkoy poezii 1980-kh godov (Spetsifika zhanrov i stiley) []. Moscow, 1996. 175 p.
6. Brodskiy I. Stikhotvoreniya i poemys [Verses and poems]: in 2 vols, vol. 2. St. Petersburg, 2011. 573 p.
7. Akhmatova A. Works in 2 vols, vol. 1. Moscow, 1990. 448 p.

8. Baevskiy V.S. Istoriya russkoy poezii. 1730—1980. Kompendium [History of Russian Poetry. 1730—1980. Compendium]. 3-e izd., ispr. i dop. Moscow, 1996. 320 p.
9. Nedobrovo N. Milyy golos. Izbrannye proizvedeniya [Sweet voice. Selected works]. Tomsk, 2001. 352 p.
10. Brodskiy I. Sochineniya Iosifa Brodskogo [Works of Joseph Brodsky]: in 4 vols, vol. 1. St. Petersburg, 1992. 480 p.
11. Akhmatova A. Works in 2 vols, vol. 2. Moscow, 1990. 432 p.
12. Brodskiy I. Sochineniya Iosifa Brodskogo [Works of Joseph Brodsky]: in 4 vols, vol. 3. St. Petersburg, 1994. 446 p.
13. Ranchin A. "Na piru Mnemosiny". Interteksty Brodskogo ["At the feast of Mnemosyne". Brodsky's Intertexts.]. Moscow, 2001. 464 p.
14. Samoylov D. Iz dnevnika [From a diary]. Literaturnoe obozrenie, 1990, no. 11, pp. 98-99.
15. Brodskiy I. Sochineniya Iosifa Brodskogo [Works of Joseph Brodsky]: in 8 vols, vol. 5. St. Petersburg, 1999. 376 p.
16. Kolobaeva L.A. I.A. Brodskiy: analiz poeticheskogo teksta [Analysis of the Poetic Text]. Moscow, 2014. 176 p.
17. Romanova I.V. Poetika Iosifa Brodskogo: Lirika s kommunikativnoy tochki zreniya: monografiya [Poetics of Joseph Brodsky: Lyrics from the communicative point of view: monograph]. Smolensk, 2007. 328 p.
18. Gordin Ya. Pereklichka vo mrake. Iosif Brodskiy i ego sobesedniki [Roll call in the dark. Joseph Brodsky and his interlocutors]. St. Petersburg, 2000. 232 p.
19. Fokin A.A. Tvorchestvo Iosifa Brodskogo v kontekste russkoy poeticheskoy traditsii: uchebnoe posobie [The creativity of Joseph Brodsky in the context of Russian poetic tradition: textbook]. Stavropol', 2002. 171 p.

Kormilov S.I. Akhmatova and "Akhmatovian" in the verses of Joseph Brodsky of 1962 on death and eternity. The article deals with Akhmatova's images and reminiscences in the poetry of I. Brodsky. The appearance of similar images was influenced by close communication with Akhmatova in the early 1960s. The motives that unite poets are death and immortality, temporary poetic "death" — oblivion. The voices of the past and present are heard in the verses "as proof of the real existence of eternity <...> in language and literature" (A.A. Fokin). Brodsky sees the transition to the twenty-first century as guaranteed for Akhmatova, but not for her admirers and contemporaries. The poet gives the future, death, and eternity an apocalyptic colour, referring to the image of a horse looking for a rider, which is not characteristic of Akhmatova, and to the images of the eye and the emerald (green), which correspond to the colour of her eyes noted in the essay on the "muse of lamentation". In Brodsky, the motives of vision, mirrors (from the Poem without a Hero) and glass are important. Akhmatov's "experience of death" and the combination in focus of the prism of the individual soul and the prism of history "through prosody, which, in fact, is the repository of time in language". The soul and the body are also common motifs used by both poets. The poet is interested in the idea of the rapprochement of earth and sky (earthly — temporary, heaven — divine eternity), and the "soldier's step" sounds especially mundane (in Akhmatova's Requiem — "heavy steps of soldiers"). The young poet chooses one of the main ethical and aesthetic guidelines for him.

Keywords: death and immortality, Apocalypse, soul and body, earth and sky, mirror.

Сведения об авторе. Сергей Иванович Кормилов — доктор филологических наук, профессор; кафедра новейшей русской литературы и современного литературного процесса, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; ORCID: 0000-0001-7924-2931; profkormilov@mail.ru.

Статья публикуется впервые. Поступила в редакцию 15.12.2020. Принята к публикации 10.01.2021.

Ссылка на эту статью: Кормилов С.И. Ахматова и ахматовское в стихах Иосифа Бродского 1962 года о смерти и вечности // Ученые записки Новгородского государственного университета. 2021. № 1(34). С. 120-128. doi: 10.34680/2411-7951.2021.1(34).114-122

For citation: Kormilov S.I. Akhmatova and "Akhmatovian" in the verses of Joseph Brodsky of 1962 on death and eternity. *Memoirs of NovSU*, 2021, no. 1(34), pp. 120-128. doi: 10.34680/2411-7951.2021.1(34).114-122